Лакшин Владимир 22.05.03 бол

ЛАКШИН

НГ Ex libris (прил. к Независимой). – 2003. – 22 мая. – с. 3

2003 год проходит под знаком Владимира Лакшина. 6 мая – исполнилось 70 лет со дня его рождения, 26 июля – 10 лет со дня смерти...

В Центральном Доме работников искусств прошли ежегодные VII Лакшинские чтения. В № 4 журнала «Дружба народов» началась публикация его дневника 1969–1970 годов «Последний акт». Готовится к печати трехтомник. Все это замечательно, только вот его самого не хватает – нам всем. Потому что самое удивительное из всего, что умел Владимир Лакшин делать, – а умел он многое! – это играть по правилам.

Пароль и отзыв

Они придут, а мы – живые!

Виктор Малухин

Он был в высшей степени человек текста, замечательный, не нынешней тонкости литературовед и критик. «Я русский литератор со всеми выгодами и невыгодами этого звания», – сказал он о себе в интервью «НГ» незадолго до смерти. В этих простых словах проявила себя та мера лаконичной выдержанности, доверительности и достоинства, которые отличали Лакшина как профессионала. Точность была для него важнейшей категорией творческой свободы.

Он был несвоевременный человек. Лакшин изведал гонения, опалу и обреченность на вынужденное многолетнее молчание в советские времена с их непосильным для слабых или бездарных цензурным гнетом. Но вот деталь, много говорящая о характере человека и понимании им своего долга. Именно в этой своей драматичной ситуации Лакшин, рискуя, с одной стороны, быть заподозренным интеллигентской фрондой в бесчестном подыгрывании Кремлю и Лубянке, а с другой – одновременно быть обвиненным властями в запрещенной самиздатской деятельности, счел необходимым для себя как личности во имя исторической правды и благодарной памяти вступить в полемику с А.И. Солженицыным, пребывавшем в ту пору в двойном ореоле нобелевского лауреата и отлученного от Родины изгнанника.

Однако и в обновленной России, где на обломках советской империи бесстыдно и торопливо правили свой бал скороспелые демократы с большевистскими инстинктами, Лакшин вновь оказался не ко двору и не ко времени. Корректная, но твердая попытка Лакшина реабилитировать понятие "русский" и вернуть искаженное перестроечными химерами общественное сознание к здравым идеям просвещенного патриотизма ("Россия и русские на своих похоронах", "НГ" от 17.03.93) была тотчас осуждена бдительным либеральным истеблишментом по карающей пожизненно статье «русский фашизм», ибо команды исповедовать державность тогда еще не поступало.

Владимир Лакшин не дожил до нынешнего "путинского призыва" заслуженных деятелей всяческих искусств, которые, «задрав штаны», массово устремились в партию власти. Впрочем, все низменные литературно-художественные страсти архетипически и вчуже были знакомы Лакшину по советским временам. Для нас же весь фокус этого дурного превращения заключается только в том, что в советскую эпоху бесславили себя люди презренные, а ныне срамятся тогдашние достойные. Об остальном сказал Эрнст Неизвестный в своем полуироничном покаянии: «Мы всего лишь хотели пробиться в первые ряды, чтобы облобызать власть и сделать это талантливо, а она испугалась, что мы собираемся ее укусить».

Отрадно и утешительно сознавать сегодня, что жил среди нас человек, который ни при каких обстоятельствах не уронил бы себя и наше высокое представление о нем, чье участие в нынешних номенклатурно-либеральных непотребствах так же непредставимо, как и в минувших номенклатурно-партийных.

Вообще в личности Лакшина какое-то старомодное джентльменство поразительно органично сочеталось с едва уловимой самоиронией и с очень определенными и очень народными понятиями о том, что человеку делать прилично и позволительно, а что – негоже и душевредно. Он никогда не служил в армии, однако же чувствовалась в нем этакая мхатовская турбинская косточка, и даже трость, на которую опирался прихрамывающий Лакшин, виделась как необходимый элемент этого образа. Тут нужно говорить о таланте существования в жизни, равном литераторскому, о стойкости, благородстве и вкусе. Но главным было понятие чести, растворенное во всем его человеческом составе. Под действием необоримой внешней силы он мог гнуться, но не позволял себя сломить. Он говорил: «Помните – за что бьют в молодости, тем гордятся в старости».

Он, как немногие, имел право на такие слова, и на его судьбе они сбылись в полной мере. Я не слышал, чтобы Лакшин когда-нибудь жаловался на участь или сетовал на обстоятельства. Самое большее – мог мимоходом упомянуть, например, о том, что окно в комнатке "Иностранной литературы", в которую его водворили после разгона "Нового мира", было забрано решеткой. Отторгая всем своим существом малейший намек на пафос, Лакшин говорил о подобных вещах исключительно как о характерном обстоятельстве места и времени. Однако трудно удержаться от искушения увидеть в этой сцене метафору общей нашей несвободы и плененного духа в эпоху брежневского застоя.

Невозможность находить в свежем номере "Нового мира" очередную статью одного из самых даровитых и достойных литераторов своего времени была болезненно ощутимой утратой в те времена, когда чтение написанного другим стало формой проживания собственной жизни. Подобно многим сверстникам, я начал читать Лакшина, еще будучи школьником. Много лет спустя, устраиваясь на работу в "Известия", в тамошнем отделе литературы мне случилось подвергнуться довольно жесткому тестированию в форме собеседования. В заключение я упомянул о много лет не публиковавшемся к тому времени Лакшине. "Господи, вот с этого и надо было начинать", – услышал я в ответ. Вероятно, моя будущая коллега опасалась, что я позабыл или, хуже того, не знаю это имя-пароль: Лакшин.

Именно в той комнате, где происходил разговор, я был впоследствии представлен Лакшину, надолго изгнанному правды ради из литературы и наконец вернувшемуся к активной редакторской и критико-публицистической работе. При этом мне открылась еще одна важнейшая для личности Лакшина черта – всепобеждающее обаяние. Его не просто любили – слушая его, им любовались… Загадка личности Лакшина не поддается анализу, ибо невозможно разъять на составляющие дар Божий.

Лакшин был олицетворением той самой нормы, от отсутствия которой столь тяжко страдало общество под господством коммунистов и нисколько не меньше мучается после них. Это понятие нормы расширительно и необходимо включает в себя и лад, и совесть, и прямоту, и несуетность. Поэтому перечитывать Лакшина и литераторов одного с ним направления необходимо – хотя бы для того, чтобы держать себя в нравственном тонусе.

Подобно названиям пьес любимого им Островского, заголовки его статей с порога вводят нас в круг идей автора: "Непрощающая память", "Крик над площадью", "Не ускакали бы кони…", "Я – русский литератор", "Новые советы из-за океана, или Спустя лето по малину", "Мы оскудели не деньгами, а разумом", "Когда открылась казарма", "Делай что должно, и пусть будет, что будет", "Культура – не украшение на мундире государства", "Самоубийство совершает общество, загоняя в тупик культуру", "Феномен "толстого" журнала в России как явление национальной культуры", "Берега культуры". И еще – прибавить к этому дюжину литературоведческих томов…

Недавно прочел о мэре подмосковного городка. Этот человек целенаправленно и последовательно обустраивает жизнь в своей зоне ответственности в согласии с девизом: «Они придут, а мы живые». Уверен, что Лакшин оценил бы. ■

> Он говорил: «Помните – за что бьют в молодости, тем гордятся в старости»

Путник и башня на вершине горы

Мы прислушивались к тому, что сказал Лакшин

Сергей Есин

Владимир Яковлевич Лакшин никогда у нас в институте не преподавал, и знал я его неподробно. Я к нему всегда относился, как путник к большой башне, которая находится где-то на вершине горы и в которой ярко горят окна. Все наше поколение так к нему относилось, потому что он сидел в каком-то удивительном жреческом сооружении и руководил практически всей нашей общественной жизнью.

Мы прислушивались к тому, что сказал Лакшин, мы прислушивались, как поворачивается «Новый мир», мы повторяли за ним. Для нас его слово и его мысли, потому что они были и нашими мыслями, становились и законом, и побуждением к действиям.

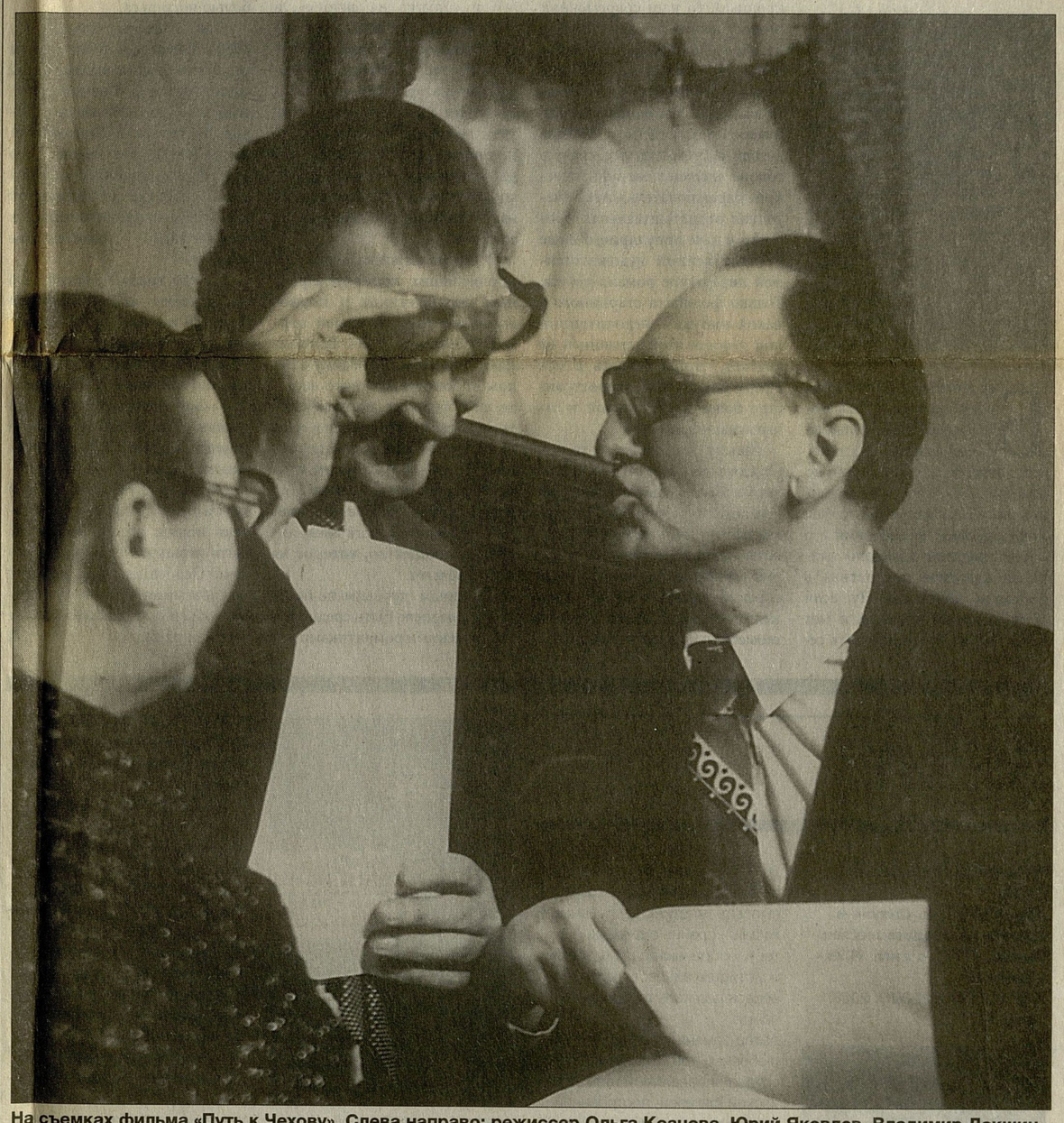
...С Лакшиным я познакомился поздно. И должен сказать, что человек он был очень необычный. При нем все начинали вдруг как-то по-другому себя вести, вдруг оказывались предельно интеллигентными, говорили тихими голосами, не рассказывали плохие анекдоты, не шутили неподобающим образом. Он был удивительный человек. Такие есть люди среди русской интеллигенции, которых начинают стесняться. Потому что это люди, которые как бы живут так, как они внутри себя и есть. Они живут без маски.

Я впервые встретился с ним в редакции журнала «Знамя». Добрый человек, хорошо улыбался, негромко говорил и говорил очень точно. Для меня всегда было очень важно его мнение. Никогда не забуду, как Лакшин, прочитав мой роман, сказал: «Да, это поразительная штука, как-то она вся тебя затягивает помимо собственного желания».

В то время, когда мы все были молодые, вышла его книга об Островском, которая произвела совершенно оглушительное впечатление на нас всех. Потому что это была книга о сокровенном русском писателе, об удивительном драматурге, стоящем в ранге самых крупных драматургических имен мира. И в книжке много рассказывалось о нашей жизни, о наших характерах, и в том числе рассказывалось еще и об Островском. Но не это, пожалуй, было главное.

Люди, которые помнят его, помнят его поступки, как-то всегда внутренне соизмеряют себя с идеалом. Мне кажется удивительным, что человека нет, осталась его улыбка, остались его очки. Вообще обратите внимание, что на протяжении 10 лет большая очень группа людей в наше очень занятое время приходит почему-то на Лакшинские чтения. И мы говорим, не боясь повториться, об одном и том же человеке. Это значит, что-то в нашей жизни он крепко зацепил. И думаю, зацепил не только как писатель.

Если говорить о том, что написали о Лакшине, то я думаю, ему недодали. Потому что это был не только крупный художник, но и очень крупный философ. Это человек, который исподволь поворачивал время. В часах много механизмов: есть пружины, есть зубчатые колеса, есть маленькая такая деталька, которая называется анкером и от которой зависит точный и поступательный ход часов. ■



На съемках фильма «Путь к Чехову». Слева направо: режиссер Ольга Кознова, Юрий Яковлев, Владимир Лакшин.

Уроки высоты интонации

Когда-то критики сражались на рапирах, а не на дрекольях

Игорь Золотусский

Образ Лакшина, каким он рисуется в моей памяти, – это образ человека очень серьезного и вместе с тем компанейски веселого, умеющего вовремя уйти в себя и столь же быстро открыться. Он не боялся полемики и даже любил ее. Но она в его писаниях не вела к разжиганию распрей.

Сегодня, когда литературная среда напоминает зону вокруг все еще не потухшего Чернобыля, где жесткое излучение убивает не невидимо и бесшумно, а чуть ли не при криках радости, этот урок Лакшина весьма актуален.

Споры в те годы, когда он жил, тоже бывали – и крупные (пример – его брошюра по поводу книги А.Солженицына «Бодался теленок с дубом»), но сражались на рапирах (по крайней мере в цивилизованной критике), а не на дрекольях и никогда не били сзади по голове.

Лакшин, к слову сказать, был мастер критического обмена любезностями еще и потому, что много знал, был капитально образован да еще (не самое последнее в нашем деле) умел писать. К тому же его критика принадлежала к идейной литературе, где идеи не взяты из книг, а выстраданы и подкреплены знанием русской истории не понаслышке.

Немало значило и то, что Лакшин вырос в интеллигентной семье, и оттого воспитанность, чувство такта сопутствовали ему, я думаю, с детства. Таким же он был и в своих статьях и книгах. В этом смысле, мне кажется, примером для него был Чехов, хотя Лакшин знал, что настоящий Чехов вовсе не похож на слюнявый идеал русского интеллигента, каким он представлялся массовому сознанию.

И все же урок интеллигентности – тоже один из уроков Лакшина. На лице у него часто играла улыбка, ее можно было разглядеть и в статьях, она, кажется, говорила литературному противнику: "Мы с тобой не смертельные враги".

Лакшин не был способен на брань, на чванный окрик, на подсиживание; и, по-моему, его никогда не терзала весьма распространенная среди нашего брата болезнь – зависть.

Если его и мучили мысли о чем-то несделанном, несовершенном или сделанном лишь наполовину, то это была его личная жизнь, его душевная тайна, никак не звавшая ни к расправе с кем-то, ни к мести за собственные упущения. Одним словом, он никогда не сводил счетов, что теперь в большой моде.

А ведь у него под руками был весь критический отдел "Нового мира", где бы он мог запросто это делать, срывая с кого-то погоны, а с кого-то и золотые звезды.

Зато ему пришлось в полной мере изведать зависть коллег, ревнующих его к его успехам и, что там говорить, к первенству в современной критике. Помню, как подсмеивались его недоброжелатели над тем, что он в 1966 году ("когда все всем было ясно") вступил в КПСС.

А, на мой взгляд, самые яростные гонители этой партии – как раз ее бывшие преуспевающие члены, вступившие в нее, едва сойдя с пионерской линейки.

Эту ложь стремительного раздевания и переодевания Лакшин хорошо видел. Он не спешил, как иные его коллеги, в церковь, не сжигал принародно партийный билет и одним из первых заговорил о переориентации "демократов", перекрасившихся из волков в овец и превративших трагедию крушения веры (у иных она все же была) в фарс.

Я-то думаю, что он вступил в КПСС не из-за личной выгоды (которой и не получил), а для того (и так поступал не он один), чтобы, находясь в ней, хоть как-то ослаблять удары, наносимые "Новому миру", как-то защитить любимый журнал.

Я уже сказал о его серьезности. Но серьезность эта не перерастала в высокомерие, третирующее тех, кто пишет о проходящее смертном. Лакшин и сам писал о нем, если было нужно, но выходил на злобу дня от вечного, от великого, ну, скажем, от того же Чехова или Толстого. Его капиталом была классика, этот не подверженный переоценке клад, где береглось все – язык, благородство, любовь к отечеству, верность истине.

С таким запасом можно было долго жить и долго писать, но судьба уготовила ему не столь длительное пребывание среди нас. И сегодня мы, пережившие его, чувствуем, что без Лакшина в литературном мире как-то пусто. Нет его новых статей, новых книг, новых телевизионных передач. А еще я бы сказал, Володи Лакшина недостает в России, как, впрочем, недостает и других достойных, рядом с ним и независимо от него хорошо делавших свое дело на своем месте.

Уроки Лакшина – это и уроки высоты интонации, высоты обзора литературы, которую он никогда не отделял от своего личного искания лучшей доли не для себя, а для всех. Он, несмотря на то что считался осмотрительным литературным политиком, был человеком романтической эпохи. Той эпохи, которую теперь именуют "проклятым прошлым".

Есть что клясть и в прошлом, и в настоящем, но, поверьте, на проклятиях, как на земле, отравленной химикатами, не взойдет ни один плодоносный злак.

Владимир Лакшин (и такие, как он) оставил нам в наследство не гремящее отрицание, не едкость уничтожающей критики, а любовь – любовь к слову, к непоруганной чести, к самой жизни, которая весной, в начале мая, в дни его появления на свет, особенно прекрасна. ■

И Чехов ему машет рукой...

Рассказ о Ялте и о цейссовском бинокле

Анатолий Королев

Как-то в студенческие годы я побывал в Ялте в Музее Чехова. Среди множества любопытных вещей обращаю внимание на бинокль. Красивая, дорогая вещь. Морской цейссовский бинокль вложен в твердый футляр из черной кожи, обитый внутри мягкой малиновой байкой. Вдруг замечаю: на футляр сбоку аккуратно наклеена бумажка, где красивым чеховским почерком написано: «А.П. Чехов. Аутка, дом № 6». Спрашиваю: «Зачем это?» – «Антон Павлович, – отвечает мне смотритель музея, – был довольно рассеян и, гуляя с биноклем по набережной Ялты, часто забывал его то на скамейке, то на парапете, этот свой морской бинокль. И поэтому, зная свою забывчивость, и надписал свой адрес, чтобы те, кто найдет пропажу, вернули бинокль владельцу». – «И возвращали?» – мое восклицание выдает с головой неверие современного человека в такой вот поступок. «Всегда!» – торжественно чеканит смотритель.

Рассказав эту историю Лакшину, я подвел такую черту: вот итог XX столетия для России. Вот та моральная миллиметровка, которой была задернута тогдашняя Ялта, она сейчас сдернута, и такой поступок невозможен. «Увы, – сказал я, – машинальный гуманизм уже невозможен».

Он улыбнулся и сказал, что уважение к Чехову было чуть ли не модой тогдашней интеллигенции, и добавил, что Чехов получал огромное количество писем, принимал много дам, с которыми беседовал как врач-целитель, как психиатр. «Эта отзывчивость Чехова, – заметил Лакшин, – шла от его болезни. Ведь он был больным человеком. Вы, наверное, это заметили (мы были на «вы». – А.К.). Аутка ведь жилище больного». Да, конечно, я вспомнил белый таз в спальне, белый кувшин эмалированный. Как там была видна кровь чахоточного человека от кашля.

Если мне не изменяет память, Лакшин затем сказал, что у Чехова была так же поранена душа. Она кровоточила. Ведь отец его бил в детстве. И это Чехов простить и забыть никогда отцу не мог... Потом Лакшин перевел разговор на тему маленького садика вокруг усадьбы в Аутке и предложил мне написать о нем пейзажный анализ. Ведь сад играл роль записной книжки для Чехова. Там все было посажено с умыслом. Меня поразило это замечание Владимира Яковлевича. Я подумал, что он наверняка прав, и обещал об этом написать. Каюсь, я до сих пор это слово не сдержал.

Но сейчас я вот о чем думаю. Отчасти тогда, говоря о чувствительности Чехова, Лакшин говорил и о себе. Одно время он ведь тоже был долго прикован к постели. Но, как и Чехов, Лакшин сумел преодолеть эту болезнь и сделать воспоминания о боли инструментом анализа, частью своего отношения к жизни. Лакшин стал для нас тем цейссовским биноклем культуры. Думаю, даже шире. Лакшин, как и Чехов, был частью той нравственной миллиметровки, которая сетью покрывала пространство нашей жизни. Увы, она становится все меньше и меньше, съеживается, как шагреневая кожа.

...Где сейчас его душа? Вечером накануне смерти я позвонил ему, договорились о завтрашней встрече (Лакшин задумал организовать Чеховскую академию.) Он назначил время на четыре часа дня. И, уже предвкушая отпуск, говорил, как уедет бродить в заветных муромских лесах во вторник.

Наверное, он там. Бродит по лесным тропкам, гуляет по кронам деревьев и видит далекую Ялту, рай. И может быть, Чехов ему машет рукой. Как апостолы Петр и Павел, они оба сторожат вход в тот небесный чертог. ■